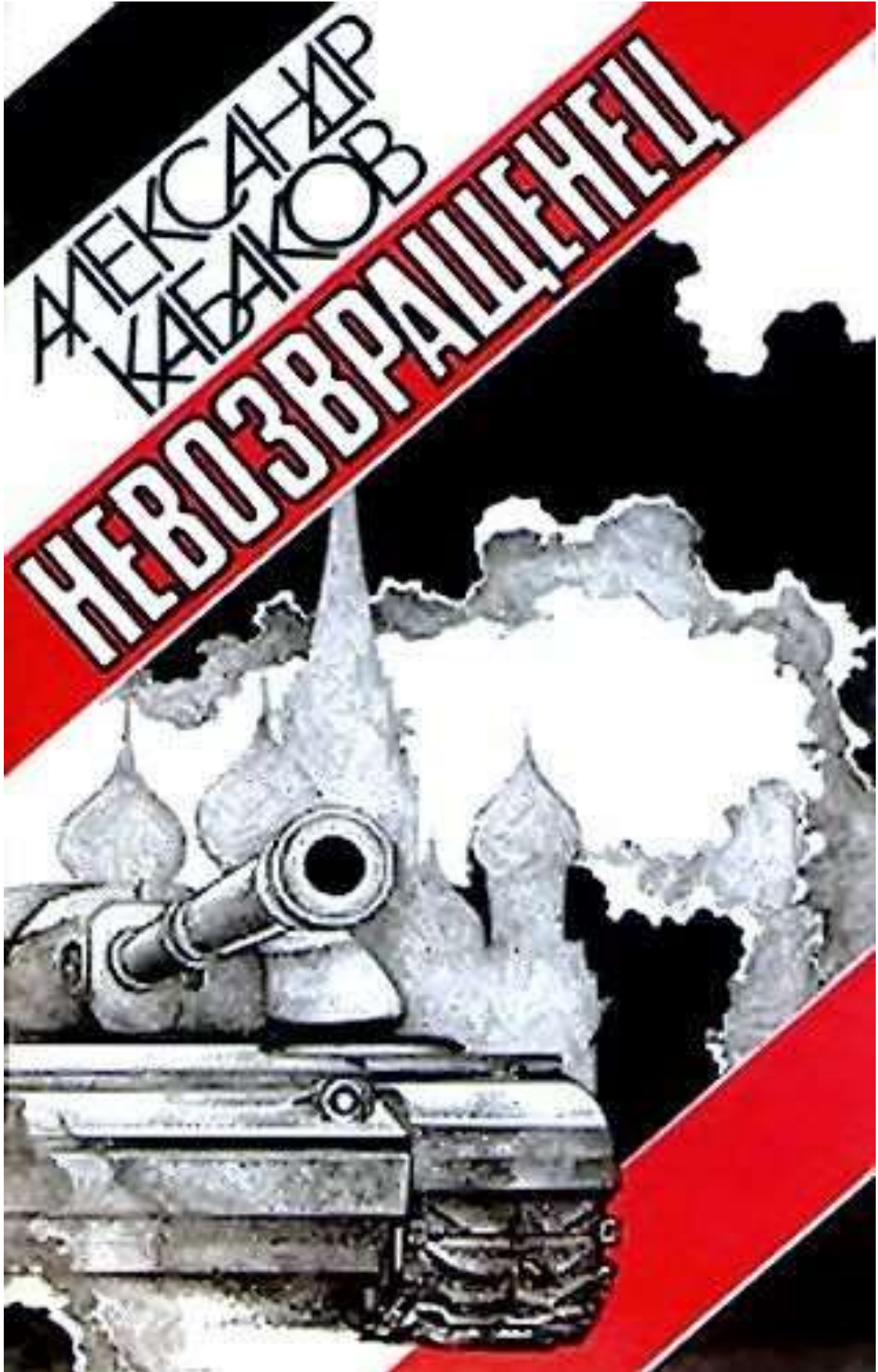


Александр Кабаков

Невозвращенец



Никогда я так не жалел о том, что лишен больших литературных способностей, как сейчас. Бесцветный и невыразительный либо, наоборот, слишком претенциозный стиль, которым я когда-то записывал результаты своих экспериментов, совершенно непригоден в нынешних обстоятельствах. И, думаю, что естественное и полное недоверие, которым будет встречен этот рассказ, — а коли он не вызовет доверия, то не вызовет и интереса, поскольку интересен может быть именно и только абсолютной достоверностью и точностью, — думаю, что недоверие со стороны читателей — если после всего случившегося они когда-нибудь снова появятся — полностью уничтожит тот практический эффект, которого я хотел бы достичь.

Великие проповедники, сумевшие увлечь народ, несомненно обладали великими же литературными дарованиями. Евангелисты не много сделали бы для распространения истины, открывшейся Христу, не будь они гениальными писателями. К сожалению, столь же часто, если не чаще, дар слова бывал отпущен и злодеям, и шарлатанам, и недалёковидным, ограниченным глупцам, жаждущим общего блага. Последние бывали даже более опасны, чем заурядные негодяи, — наркотик тем более ужасен, чем естественней он включается в обмен веществ, особенно если и употребление его приятно.

Впрочем, об этом еще будет случай здесь порассуждать. Ведь то, что есть предмет моего рассказа, — не более чем реальная иллюстрация высказанной мысли.

Они явились прямо в институт.

В лаборатории зазвонил телефон, я снял трубку и услышал голос начальника отдела кадров — сварливый голос в сущности уже довольно беззлобного вдового старика, чьи наивные хитрости и интриги давно побледнели рядом с элегантным людоедством моих молодых и ученых коллег.

— Юра, — обратился он ко мне на «ты» по праву старшего, — зайди ко мне, пожалуйста.

— Попозже, — довольно небрежно ответил я. Идти через все здание не хотелось, к тому же на столе лежала куча неподписанных таблиц, а до обеда я решил обязательно полностью с ними разделаться. Старик же для меня давно не представлял никакой власти, даже по части характеристики: надо будет — так и без его благоволения подпишу и поеду... Но голос Аверьяна Павловича стал одновременно и тверд, и искателен почему-то:

— Зайди, я тебя ведь прошу. Сейчас зайди, слышишь?

Выражаясь гораздо более энергично, чем того заслуживала ситуация и чем принято при дамах — правда, у нас в институте, как и во многих такого рода заведениях, уже давно было принято и при дамах, — я отправился в кадры. Я вылез из-за стола, выскочил из лаборатории, слетел по короткой лестнице на пол-этажа и понесся по длинному коридору. Грязно-бирюзовые присутственные стены, вечно мигающие полусломанные лампы дневного света и архаические ковровые дорожки, застеленные полотном с грязными следами, придавали нашему институту вид самой что ни на есть заштатной конторы из глухо провинциальных. А между тем это был академический институт, и иностранные делегации изумлялись, не умея совместить проблемы, которыми мы занимались, имена и степени сотрудников с интерьерами институтских

коридоров, а особенно буфета и уборных. Сортиры у нас были выдающиеся даже по отечественным меркам.

В кабинете у Аверьяна из-за гигантского сейфа мне навстречу поднялись со стульев двое. Один из них шагнул вперед и удивительно ловко произвел сразу несколько движений: правую руку он протянул для пожатия, на которое я машинально ответил, левой откуда-то вытащил и, развернув, на мгновение близко поднес к моему лицу довольно большое удостоверение, в котором я не успел прочесть ни имени-отчества, ни фамилии, ни должности — ничего, только организацию, тут же удостоверение спрятал и, не отпуская правой моей руки, своей левой повел в сторону товарища, невнятно назвав его, одновременно стал сам садиться, потянув и меня книзу, так что и я оказался на стуле. Тут же сел и второй, и вдвоем они образовали как бы коротенький полукруг, в фокусе которого сидел я.

Аверьяна, когда я повернулся, в кабинете уже не было. Только валялись на его столе какие-то приказы да стояла полуоткрытая жестяная коробочка со штемпельной подушечкой.

Я почувствовал, что лицо мое обрело давно не посещавшее его выражение. Мол, что ж тут такого, ничего особенного, мы люди опытные, понимаем все насквозь, и в визите таком нет ничего удивительного, дело естественное и даже необходимое, хотя, конечно, и не без комического оттенка... Примерно такое выражение: ну, ребята, давайте послушаем, чего вы расскажете...

— Юрий Ильич, — сказал, непрестанно улыбаясь, тот, что пожимал руку, — ну, пришли мы послушать, что вы нам расскажете.

Вопрос был удивительно прям и в то же время абсолютно бессмыслен. Поэтому мне и думать не пришлось, чтобы ответить.

— А, собственно, о чем? Простите, имя-отчество ваше не расслышал... и товарища вашего...

— Игорь Васильевич! Это я виноват, голос у меня тихий да и дикция не очень... Игорь Васильевич я. Простите уж нас, что отрываем... А это вот, прошу любить и жаловать, молодой наш товарищ, начинающий, можно сказать, стажер, я-то уж давно, а он начинает только. Сергей Иванович, его и без отчества можно, молодой еще, а мы думали-думали, к кому бы нам обратиться, и вот решили к вам, вы понимаете, мы, конечно, сначала все узнали, о вас все, Юрий Ильич, исключительно с уважением отзываются, мы к другому еще раз пять подумали бы, прежде чем обратиться...

— И совсем бы, наверное, не обратились, — вставил Сергей Иванович. Игорь Васильевич заткнулся и вдруг отчаянно захохотал.

— Ха-ха-ха, ох, насмешил, Сергей, ох... И, конечно, ведь он прав, Юрий Ильич, и совсем бы не обратились, но вас здесь все исключительно уважают, и руководство, и так, знаете, рядовые товарищи, исключительно хорошие отзывы, и как специалист, и по-человечески, а нам ведь тоже не хочется к кому попало обращаться, люди, вы знаете, Юрий Ильич, разные есть, одного спросишь, а он и не знает ничего... Вы курите? Закуривайте.

Тут мы все втроем дружно закурили, причем они довольно долго рассматривали мою пачку сигарет и, переглядываясь, качали головами, так что и я внимательно ее

осмотрел, прежде чем спрятать, но ничего не увидел.

— Юрий Ильич, — сказал, сделав серьезное лицо, молодой Сергей Иванович, — ну, мы пришли послушать, что вы нам расскажете.

— А, собственно, о чем? Простите, имя-отчество ваше... Сергей...

— Иванович. Вы имена плохо запоминаете? Вот и Игорь Васильевич наш тоже... скажешь ему имя-отчество, а он тут же забыл. Как, говорит, имя-отчество этого, что ты докладывал, Сергей? Я говорю — ну, как же вы не помните, Игорь Васильевич, Джеймс Фрэнклин Лопатофф, а он говорит...

— Бывает, это бывает, Юрий Ильич, — перебил Игорь Васильевич. — Но мы-то пришли послушать, что вы нам расскажете.

— Да, собственно говоря, о чем же я рассказать могу? Игорь...

— Васильевич. Это так уж у нас в роду и велось: я Игорь Васильевич, а отец мой Василий Игоревич был. А дед — опять Игорь Васильевич...

— А меня в честь Есенина мать назвала, — тут же влез молодой. Мы снова все вместе закурили.

— Да, — сказал Игорь Васильевич, выпуская дым в сторону и отмахивая его рукой, — это вы, конечно, Юрий Ильич, просто из скромности на себя наговариваете.

— Что именно? — от третьей подряд сигареты во рту у меня было отвратительно кисло.

— Да вот, что у вас таланта литературного нет и тому подобное. Я ведь, вы сами понимаете, по службе все, что вы пишете, читал, но я, конечно, не специалист, так ведь и от специалистов слышал, что исключительный у вас литературный талант и язык очень богатый, правда, Сергей? Вот Сергей не даст соврать, он у нас исключительно честный, но тоже скажет, что не только в вашем институте, а, может, и во всей Москве сейчас такого языка богатого ни у кого нет. И со стороны руководства о вашем языке самые положительные отзывы, и рядовые сотрудники очень уважают...

— Ну, при чем тут наш институт? — возразил я, потянувшись было за сигаретой, но раздумал. — Что у нас в институте в языке понимают? Институт-то ведь не литературы же и русского языка...

— Нет, нет! — закричал Игорь Васильевич и весь подался на стуле вперед, так что пиджак его распахнулся, но он его немедленно запахнул. — Нет, и в институте, и вообще понимают, вы будьте уверены, ценят вас и знают, кому положено, конечно. Вот я вам такой пример приведу: написали вы, допустим...

— Ну, что? — перебил я, потому что он меня уже довел этой пустой и полуграмотной лестью. — Ну, что я написал? Рассуждение о связи между сущностью учения и формой проповеди? Или насчет иллюзий справедливости? И то, и другое самым сухим, самым казенным стилем...

— Ну, не только, — коротко буркнул Сергей Иванович и даже вроде обиделся по-детски.

— Правильно, — согнав постоянную улыбку поддержал Игорь Васильевич. — Правильно Сергей говорит: именно не только, Юрий Ильич! Разве вы не можете

написать высокохудожественно? Еще как можете. Если захотите нам помочь. Мы ведь думаем, что вы захотите нам помочь, правильно? Мы же вас не заставляем, Юрий Ильич, мы только просим: напишите. Вы же, наверное, не догадываетесь, а нам точно известно: такой поток серости идет сейчас в нашу отечественную литературу, такой поток!.. Ужас. А вы нам очень могли бы помочь.

— Нет, ребята, — сказал я и закурил. — Не понимаю, чем я все-таки могу вам помочь. Совершенно не понимаю. Мало того, что я чутья к слову не имею, я совершенно не умею выдумывать. Я считаю фантазию для порядочного экспериментатора абсолютно неприемлемым качеством и никогда ничего и ни о ком выдумывать не буду...

— Вы нас обижаете, — сказал Сергей Иванович, — честное слово. Да разве мы вас просим выдумывать? Нам и в голову бы не пришло вас об этом просить...

— И в голову бы не пришло, — сказал Игорь Васильевич, — вы нас обижаете просто. У нас совершенно и редакция другая, мы фантазиями или, как вы говорите, выдумками вообще не занимаемся. Это у вас просто представление такое: раз мы, значит, фантазия, беллетристика, романы, ночные бдения, трагедии, как при Бальзаке...

— Или даже при Достоевском каком-нибудь, — добавил Сергей Иванович и чуть улыбнулся. — Преступление и наказание прямо. Это все уже давно прошло, Юрий Ильич, сейчас исключительно документальное всех интересует.

— Время другое, — серьезно закончил Игорь Васильевич.

— Но о чем же я могу написать?! — тут и я засмеялся. Со стороны мы были, конечно, похожи на совершенно одинаковых людей, коллеги-литераторы беседуют. «Я уже вполне усвоил их тон», — с ужасом подумал я. — Ну, написать о нашей беседе, например? В лицах...

— Обязательно! — закричали они хором и, немедленно встав, кинулись пожимать мне руки. — У вас прекрасно получится. А мы уж позвоним, вы извините, как только напишете, так и позвоним... Счастливы вам! Прямо так и давайте, странички четыре-пять, на машинке, через два интервала, поля стандартные. Так и пишите: дескать они явились прямо в институт, и так далее. А потом переходите сразу к главному: ночь, улица, фонарь, аптека, ну, и так далее. Улицу-то знаете?

— Знаю, знаю, — отвечал я, пожимая руки.

— Ну, так и пишите: улица такая-то, почтовый индекс, если в центре, не обязательно... еще раз пожелаем всего хорошего!

— Давайте я вам пропуск подпишу, — сказал Сергей Иванович строго.

Игорь Васильевич высоко, до хруста заломил мне руку за спину и несильным пинком вытолкнул меня в институтский коридор. В коридоре было пусто, и только в дальнем конце светилась одна — ночная, дежурная — лампочка.

Ледяной ветер нес снег зигзагами, и белые струи, словно указывая мне путь, поворачивали с Грузин на Тверскую. Где-то в стороне Масловки стучали очереди — похоже, что бил крупнокалиберный с бэтээра. Я вытащил из-под куртки транзистор и

ненадолго — батарейки и так катастрофически сели — включил его. «Вчера в Кремле, — сказал диктор, — начал работу Первый Чрезвычайный Учредительный Съезд Российского Союза Демократических Партий. В работе съезда принимают участие делегаты от всех политических партий России. В качестве гостей на съезд прибыли зарубежные делегации — Христианско-Демократической Партии Закавказья, Социал-Фундаменталистов Туркестана, Конституционной Партии Объединенных Бухарских и Самаркандских Эмиратов, католических радикалов Прибалтийской Федерации, а также Левых коммунистов Сибири (Иркутск). В первый день работы съезда с докладом выступил секретарь-президент Подготовительного Комитета генерал Виктор Андреевич Панаев. Московское время — ноль часов три минуты. Продолжаем передачу новостей. Вчера в Персидском заливе неопознанные самолеты подвергли очередной ядерной бомбардировке караван мирных судов, принадлежащих Соединенным Штатам. Корабли шли под нейтральным польским флагом, но это не остановило клерикал-фашистов. Мировая общественность горячо поддерживает миролюбивые усилия...»

Я выключил приемник и двинулся по Тверской. По обе стороны широкой, ярко освещенной луной улицы брели люди. По одному, по двое они шли от Брестского вокзала вниз, к центру. Все несли сумки, у многих за плечами были маленькие тощие рюкзаки — последняя предвоенная мода. И полы многих шуб, курток, пальто так же оттопыривались, как и у меня, а кое-кто нес «калашников» и вовсе — по ночному времени — открыто. Светила луна, и под ее светом ползли, извиваясь, серебряные нити снега, и время от времени нарастал шум и проносился по самой середине мостовой легкий танк или, грохоча проржавевшими дырявыми крыльями, полузадохшаяся «Волга», и шли по тротуарам люди — и легкий гул разговоров шепотом, дыхания, шарканья шагов стоял на улице.

Я вспомнил, как когда-то, давным-давно, а если точнее — ровно десять лет назад — я уже шел по ночной Тверской, тогда еще Горького, и цель моего путешествия была почти такая же, что и сейчас. Мне должно было исполниться сорок лет, было позвано огромное количество гостей, была уже куплена водка, еще продавалась она совершенно свободно, и никто не опасался попасть в очереди у винного в облаву истребительного отряда угловцев, но вот не хватало нам с женой, видите ли, деликатесов к юбилейному столу. Нам казалось, что с продуктами в магазинах плохо, что на стол нечего поставить, что для того, чтобы достать еду, надо слишком много хлопотать... И мы решили сделать ресторанный заказ. И, проклиная наш постоянный дефицит всего, я шел по ночной улице в кулинарию этот самый заказ делать. У той знаменитой кулинарии с аналогичной целью собиралась большая очередь задолго до открытия. И как же я тогда возмущался! «Ночью! Очередь! За продуктами!» А в заказе чего только не было — кажется, даже мясо... Или масло... уже не помню. Может, этого не было ничего. Может, мне приснилось это такой же лунной ледяной ночью, когда так же змеился по мертвому городу снег и так же трещали пулеметные очереди — мне приснились эти судки, и блюда, и что-то жареное, горячее, и обжигающий глоток водки, и запах кофе, и гости, входящие без оружия, нарядные гости в целой одежде...

Впереди, где-то у Страстной, грохнул взрыв. И улица мгновенно опустела — только последние тени задрожали у стен и исчезли, влившись в подъезды и подворотни. Я вильнул за угол, кинулся к знакомой двери — это был старинный дом,

где прошло мое детство, — снова одно из тех многих совпадений, которым мы уже перестали удивляться в эти ночи. Дверь была, конечно, заколочена. Я рванул с шеи автомат, повернул и примкнул штык, подковырнул им доску...

В подъезде я был не один.

— Только стрелять не вздумай, — сказал хриплый голос, по которому не сразу угадалась женщина. — Ты на площадь?

— Ну, допустим, — ответил я осторожно. — Вы... вы где? Я не вижу здесь...

— Москвич, — вздохнула женщина, и мои глаза, притерпевшись, нащупали ее силуэт. Она стояла на площадке между первым и вторым этажами и выделялась на фоне сизого прямоугольника окна. — По выговору слышно — москвич. А я с Днепропетровска, как он теперь?.. С Катеринослава, ага. Вот приехала. А ты не знаешь, шо у вас тут, в этой Москве, можно достать какой-нибудь обуви или нема? Одна суета...

— Не знаю, — ответил я гораздо суше, чем даже я хотел. — Я не интересуюсь обувью.

— А шо ж вас интересует? — перешла «на вы» женщина. Она спустилась по лестнице, подошла поближе. — Прикурить у вас будет?

Я прислонил автомат к стене, достал зажигалку, чиркнул. Огонек осветил склоненное женское лицо, сигарету, пальцы...

— Ой, спасибо, — сказала женщина, выпустив дым первой затяжки. Огонек зажигалки еще дрожал. Снизу, от моих ладоней, женщина подняла на меня подсвеченные им глаза. Именно такое лицо я и ожидал увидеть — сколько уже видел я их, этих южных красавиц, налетавших в столицу еще в те полузабытые времена, когда стояли они в очередях за сапогами, не рискуя налететь на выстрелы веером из подворотни напротив, на жестокую проверку Комиссии, на толпу одурелых двенадцатилетних бензинщиков... Сколько раз обманывался этими сухими, точно и тонко прорисованными лицами, сколько раз попадался на эту комбинацию панночки и модели из хорошего журнала!..

И снова во тьме после сникшего огонька зажигалки, поплыло передо мной это вечное лицо хватчицы — прямой короткий нос, обтянутые скулы, широко раскрытые, серьезные и ласковые глаза.

— И шо ж сегодня на той площади будет? — задумчиво, как бы сама у себя, спросила приезжая. — Надо сходить...

— Сегодня понедельник, — сказал я. Магия уже действовала, и вся моя доброжелательность вместе с так и не пропавшим бахвальством осведомленного москвитя пришли в движение, ринулись навстречу этому невидимому лику обмана. — По понедельникам там многое бывает. Можем пойти вместе...

— А можно и вместе... — с легким и так складно лежащимся на комический напев ее фраз смешком начала женщина, но договорить не смогла. За дверью, прямо в переулке, про шумел автомобильный мотор, грохнуло и зазвенело, и тут же — топот многих бегущих, крики: «Куда?! Стой, стой, сука!.. Ворюга! Торгаш!.. Стой!» Мгновенно схватив автомат, я поймал в темноте женщину за рукав — рукав был скользкий, кожаный — и взлетел вместе с нею на этаж.

— Вот, дверь вы открыли, теперь до нас кинуться, задыхаясь, прошептала женщина. Здесь, на площадке, окно выходило прямо в переулок. В его синем свечении лицо женщины потеряло почти все от фотомодели и стало совсем ведьмачьим. Я отодвинул ее в простенок, перехватил автомат поудобнее и осторожно придвинулся к стеклу.

В переулке я увидел человек восемь. Насколько можно было разобрать, все они были в военном, в десантных бушлатах, в беретах, стоявших лихо торчком, но по разномастной обуви и брюкам было ясно, что это не регулярные части.

— Афган... — севшим от увиденного голосом шепнул я женщине и не расслышал ее ответа — то, что происходило в переулке, оглушило меня, и смотреть я не хотел, и смотрел, не отрываясь.

Поперек переулка лежала перевернутая набок машина — кажется, старенький «Мерседес». Судя по развороченному перед нею асфальту, перевернуло ее взрывом гранаты, который мы слышали. Вокруг этой машины и суетились люди в беретах. Через оказавшуюся открытой сверху дверь они вытаскивали какого-то человека. Похоже было, что человек не особенно пострадал — во всяком случае, он и сам старался вылезти и одновременно вырывался из тащивших его рук... Его вытащили, двое держали его за локти, отведя чуть в сторону. Следом из этой же двери вытащили женщину. Ее тащили, как мертвую, — она висла на руках, складывалась, голова без шапки и платка моталась. Вытащили и ее, посадили, прислонив к багажнику... Тем временем двое, державшие мужчину, вывели его на середину переулка, к ним подошел третий, держа на весу, низко, на вытянутых руках тяжелый пулемет. Двое шагнули в сторону, мгновенно растянув руки мужчины крестом, третий, не поднимая пулемета, упер его ствол в низ живота распятого, ударила короткая очередь. К стене противоположного дома полетели клочья одежды... Женщина сползла вдоль багажника и легла на мостовую, будто устроилась спать — подтянув ноги калачиком.

Через мгновение убийц в переулке уже не было.

— Та шо ж такое, шо ж это такое?! — услышал я и снова обнаружил женщину, глядящую рядом со мной в окно. — Шо ж оно творится в вашей Москве, шоб она уже сгорела!..

— Надо уходить отсюда, — сказал я. — Через пятнадцать минут здесь будет Комиссия, они начнут обыскивать подъезды и чердаки, нам конец...

— Какая еще комиссия, — женщина, плача, упиралась, я тащил ее с лестницы, — какая комиссия, поубивают тут, в той Москве!..

— Комиссия Национальной Безопасности, неужели вы и этого не знаете? — бормотал я на ходу. — Идемте, идемте быстрее!

Мы приоткрыли дверь, но было уже поздно. С двух сторон в переулок въехали машины — полицейский микроавтобус и черная «Волга» с красным мигающим огнем на крыше. Вспыхнули фары, захлопали дверцы, люди в серой полицейской форме и в штатских куртках выскочили и выстроились двумя цепями, перекрыв перекрестки. Я прикрыл дверь. Автомат в моей руке блеснул в проникающем с улицы свете все еще примкнутым штыком...

— Все, — сказал я. — Все, сейчас они пойдут по домам...

Женщина молчала, было слышно только ее дыхание, громкое дыхание потерявшего себя человека.

— Погодите, — я сказал это слишком громко и вздрогнул. — Погодите! А как вы попали сюда? Дверь же была забита...

— Та есть же там сзади другая. — Женщина вспомнила, рванулась, и я, не выпуская ее кожаного рукава, рванулся за ней. Как же я забыл этот черный ход?! Хотя, кажется, раньше он был заперт...

Мы оказались во дворе — собственно, это был даже и не двор, а просто другая улица, но здесь стояли железные помойные ящики, чернел остов давно разбитой машины — это была изнанка некогда шикарного дома, выходящего на Тверскую. Снег не полз под ветром, не змеился — он уже лежал, скопившись невысокими волнами первых сугробов с наветренной стороны помоек и ящиков. У одного из подъездов богатого дома маячила фигура — человек в красной нейлоновой куртке шагал у подъезда взад и вперед, как часовой. Мы прошли близко, я увидел молодое лицо, совершенно седые длинные волосы бесполого существа, услышал бормотание: «Она выйдет — а я тут. Она выйдет — а я тут! Она выйдет — а я...»

Я вспомнил, что в этом подъезде жила некогда знаменитая певица, здесь всегда толпились безумные поклонники. Этот сумасшедший, похоже, бродил здесь с тех самых пор. Может, он и не знал, что кумир его давно уже поет для пассажиров парома, возящего, в основном, футбольных болельщиков между Англией и Данией. Однажды какой-то буйный бритт швырнул в нее банкой из-под пива — он был огорчен проигрышем ливерпульцев. Би-Би-Си передавало об этом с глумливым сочувствием...

Мы уже шли по Садовой. Сзади остались черные руины «Пекина», миновать их удалось, к счастью, без приключений. С тех пор как гостиница рухнула во время артиллерийских боев, развалины были облюбованы подмосковными анархистами. Все лето здесь висела выцветшая тряпка с надписью: «Да здравствуют Люберцы, долой Москву!», а однажды утром я видел, как красная кирпичная пыль, выдуваемая июньским ветром, ложилась на мертвеца, висящего в пустом оконном проеме третьего уцелевшего этажа. Это был парень из московских в своей униформе — черной кожаной куртке. Черная же кожаная фуражка сползла ему на лицо. Он висел на блестящей стальной цепи — так обитатели «Пекина» обозначили свое отвращение к его символу веры, к металлу. Шипы на браслетах, нелепо забинтовавших его вылезшие из рукавов запястья, блестели при свете китайских ресторанных фонариков. Пригородные палачи притащили их откуда-то и повесили в окне по обе стороны казненного. Они даже умудрились их включить, и бледный цветной свет был страшен утром.

— ...А у меня мужа убили еще в запрошлом годе, — продолжала женщина свой бесконечный рассказ. — Хороший был мужик, руки на месте, всем нашим с Красного Камня — это ж у нас район такой в городе — машины ремонтировал, а они ж его и убили... Прямо на сервисе и убили, монтировкой вдарили, деньги — сколько тех денег было, может, тысяча старыми еще, «горбатыми», — так они взяли и ушли. Соседи...

Я промолчал. Сколько уже слышал я этих историй — и просто в очередях, и от очевидцев, а вот теперь и от пострадавшей... Мне не жаль было ее умельца мужа, для которого тысяча «горбрых» — как раз столько, сколько мы с женой тратили на весь

недельный хлебный паек, — были не деньги. Не жаль было и ее, которая сейчас с сотней, а то и двумя этих тысяч приехала «по обуви» и, вспоминая мужа, тащится со мною ночью на площадь. Мне даже и того парня-металлиста, что висел, поблескивая шипастыми браслетами, было не жалко. Жалко мне почему-то было нелепой гостиницы со шпилем...

Мимо знаменитого дома с нехорошей квартирой, у подворотни которой дежурили пикеты с нарукавными повязками «свиты сатаны» и в кошачьих масках, мимо Патриарших, по периметру которых медленно ехал полицейский патрульный танк, скользя прожекторным лучом по фасадам, окружающим пруд, мимо какого-то посольства, обложенного мешками с песком, над которым возвышались голубые каски китайцев из ооновского батальона, мы вышли на Спиридоновку.

— ...И вот я вас хочу спросить, а у вас нема, случайно, конечно, новых талонов? — женщина заглянула мне в глаза сбоку, и снова в синем сиянии луны ее лицо мгновенно проделало путь превращений от рекламы какого-нибудь довоенного шампуня из полузабытой «Бурды» до панночки дьявольской. — А я б у вас купила б один к ста или как тут в Москве дают? Очень мне обуви надо...

— К сожалению, — я остановился. Только теперь я заметил, что так и тащу на виду автомат с примкнутым штыком. Складывая и убирая «калашникову» под куртку, я повторил: — К сожалению... у меня есть совсем немного... только на сегодня... впрочем... если на площади ничего, за чем я иду, не будет, я могу вам отдать по обычному курсу, один к восьмидесяти... на следующей неделе я должен получить еще немного... так что, если хотите...

— Вот же спасибо! — она сразу забыла все свои давние горести и страхи этой ночи. — Вот же спасибо вам! Так я с вами уж, конечно, до самой площади и пойду. А можем, если хотите, вот и на лавочке тут посидеть... пока ж рано?

Слева от нас маленький сквер возле какого-то дома из старых функционерских. Пустая милицейская будка с выбитыми стеклами темнела на краю сквера. Я взглянул на часы на столбе — было без четверти два. На площади я собирался быть около пяти.

— Что ж... давайте посидим, покурим.

Мы разыскали в темноте полусломанную скамейку, сели, закурили. У нее была, конечно, настоящая «Ява», я свернул свою, от протянутой ею пачки отказался — много лет я уже не принимал никакого угощения. Мы затянулись, я достал транзистор — минут пять можно было себе позволить послушать новости, тем более что к концу месяца батарейки обязательно должна была получить жена через очередную помощь «Иносемьи». Ее парижская родня своим существованием давала нам возможность и кормиться по талонам, и получать иногда нормальную одежду, обувь, батарейки — правительство не хотело терять тех, кто мог хотя бы когда-нибудь ввезти в страну и настоящие деньги... Транзистор щелкнул и захрипел.

«...столица Эстонской Республики. Здравствуй-те, дорогие русские друзья! Передаем новости. Вчера в лагере для интернированных граждан России произошли беспорядки. Федеральная полиция приняла меры. В парламенте Прибалтийской Федерации депутат от Кенигсберга господин Чернов сделал запрос...»

Я крутил настройку: от «Прибалтийского голоса свободы» точного времени лишний раз не дожدهшься.

«...в Крыму. Так называемое симферопольское правительство дает приют отребью, бежавшему на остров. Бандиты из пресловутой Революционной Российской Армии готовятся к вторжению в нашу страну. Всеобщее возмущение прогрессивной интеллигенции демократических стран вызывает в этой связи позиция печально известного сочинителя Аксенова, благословившего своей последней бездарной книжонкой „Материк Сибирь“ кровавый мятеж азиатских повстанцев, продолжающих зверствовать в Оренбурге, Алма-Ате и Владикавказе. По сведениям газеты американских коммунистов „Вашингтон пост“, недавно этот якобы русский писатель был принят верховным муфтием всех татар Крыма...»

Я выключил — батарейки садились, а время говорить, видно, не собирались. Теперь они говорят время все реже, чтобы заставить побольше слушать всякую чушь.

— Ото ж сволочи! — убежденно сказала моя спутница и швырнула окурок в кусты. И тут же без всякой видимой связи спросила: — А у вас, конечно, извиняюсь, талоны откуда? Может, за границей кто есть или как?

Черт его знает, сколько мне еще пришлось бы пережить переворотов, чтобы отучиться от этой даже не привычки — порока: полной, полнейшей беспомощности перед этими, перед захватчицами!

Я не сказал о родственниках жены.

— Да так... на работе, — бормотал я, выключая транзистор и пряча его во внутренний карман. — Нам платят так...

— А где же вы работаете? — она говорила все тише, теперь она шептала, хотя недавно, когда было опасно и надо было молчать, она голосила вовсю. — А где, а? Извиняюсь, конечно...

Мы уже сидели, обнявшись. Автомат резал ремнем шею и давил и мне, и ей грудь, я стащил его и положил рядом на скамейку. Она просунула руки под мою куртку.

— Замерзла... вот же ж лавка холодная, ты смотри — на ней же мороз...

Я действительно увидел на лавке, на ее выпуклых планках, иней... Ее кожаное пальто свесилось полой, пола слегка дергалась и мела по снегу...

— Ну... ты не сказал... — ее акцент сейчас был почти незаметен, и слова она уже не пела, а выдыхала. — Не сказал... где... где ты работаешь...

Я сел, снова свернул листок с табаком, чиркнул зажигалкой. Она поправляла волосы, знобясь, застегивая пальто.

— Где, а?

— Ну... в газете, — буркнул я. Я был уже учен и давно не говорил без крайней надобности, где я служу. Тут же спохватился: она могла и знать, что в редакциях талонами не платят...

Но она не знала.

Когда я поднял глаза, она стояла передо мной, и ствол моего автомата был направлен мне прямо в лоб.

— Сучка, — сказала она. — Сучка, говно. Давай сюда талоны свои сраные, журналист хренов. Ото из-за таких гнид и началось все! Жили, как люди, все было

нормально, мужик по шесть тыщ «горбатых» за хороший день зарабатывал, а вам все было плохо! Завидующие твари! Леонид Ильич вам плохой был, а у нас при нем в городе такая чистота была, и деловым людям, которые жить могли, жизнь была!.. Сталин вам плохой был, Брежнев вам был плохой, вам Горбачев угодил!.. Давай талоны сюда, а то убью интеллигента московского, вот точно — убью!

Я медленно привстал со скамейки, и она с коротким визгом отскочила подальше, вскинула ствол...

— Тише... — я полез во внутренний карман. Я бы охотно отдал ей эту сотню талонов, но вовсе не был уверен, что она после этого не разрядит с перепугу в меня рожок. И в мирное время эти не слишком были милосердны... — Тише... сейчас я отдам тебе эти поганые талоны... только не стреляй, дура... тебя же Комиссия сразу возьмет... тише... сейчас...

Можно было, конечно, упасть плашмя, рвануть ее за ноги в скользких полусапогах — и ничего бы она не успела, подумаешь, террористка... Но одно она могла успеть: выпустить очередь у меня над головой, а здесь, среди этих обреченных домов, шум почти так же убийственен, как и пуля.

Я уже готов был вытащить из кармана руку с талонами, когда в дальнем конце улицы раздался рев моторов. Вот уже показался передний танк — легкий, десантный, следом одна бээмпэ, другая, грузовик под брезентом и танк замыкающим... На Спиридоновке начиналась очередная ночь.

Она оглянулась на шум. В тот же момент я резко рванулся к ней, правой рукой зажал сзади ей рот, левой, крутнув в запястье, вывернул ее правую, лежащую на спуске автомата — сильно сжав, чтобы, не дай Бог, не успела нажать. И вместе с ней рухнул наземь, за кусты сквера.

Теперь они позвонили домой.

Я собирался в институт, жена готовила завтрак, и приемник на кухонном столе бормотал непрерывно — она включила его на все утро. «...Быстроходные катера в Персидском заливе... продолжается выдвижение делегатов... письма наших слушателей подтверждают — альтернативы перестройке нет... Всесоюзная девятнадцатая... а вот мнение академика Татьяны Заславской...»

Я снял трубку.

— Это Сергей Иванович, — услышал я радостный голос стажера. — Только вы вслух не повторяйте, Юрий Ильич, а то жена... Здравствуйте.

— Здравствуйте, — сказал я с омерзением и отчаянием. Значит, это еще будет продолжаться! И кончится ли?

— Очень надо! — радостно сообщил Сергей Иванович. — Очень надо встретиться! Вы же ведь уже написали? Вот и хорошо. Только в институте уже неудобно, Юрий Ильич. Так что вы приходите лучше к гостинице, Юрий Ильич, ага, к «Интуристу». Так точно, четырнадцать часов, Юрий Ильич. Ну, до свидания, Юрий Ильич, Юрий Ильич, Юрий Ильич...

— До свидания.

Я швырнул трубку.

— Кто это? — спросила жена.

— По делам, — сказал я, и тут же ужаснулся: значит, я уже выполняю их указания, скрываю от жены. — По делам, из «Вестника»...

У интуристовского подъезда меня ждал один Сергей Иванович, стажер. Как и положено, он был на посылках. Молча обменялись рукопожатием, молча ехали в лифте в толпе гогочущих и перекликающихся, как в лесу, немцев. Бабка в линиях джинсах, с сиреневой завивкой с доброжелательнейшим интересом разглядывала Сергея Ивановича. Я посмотрел на него ее глазами: нечто пухлощекое, пухлогубое, чубастое — на гигантском теле девяностокилограммового мужика. Она могла принять нас за отца с сыном — впрочем, одет по-сыновьему был я, на нем был приличенький универмаговский костюм с галстуком.

Игорь Васильевич встретил нас в номере радостными рукопожатиями и штатной улыбкой. Теперь я попытался и его портрет сформулировать: получилось нечто среднее между невзрачным современным киногероем и человеком с плаката по технике безопасности. Но улыбка у него была хорошая...

— Как путешествовалось, Юрий Ильич? — улыбаясь этой прекрасной улыбкой, морщившей все лицо, Игорь Васильевич двумя руками потряс мою руку и немедленно усадил в кресло у журнального столика, сам сел напротив, а Сергей Иванович пристроился на краю кровати. Номер был полуприбран, как при смене постояльцев. На столик тут же водрузилась пепельница, и мы, как водится, закурили разом. — Довольны экскурсией?

— Ну, — замялся я, — сами понимаете... интересно, конечно...

— Я думаю, — немедленно перебил Игорь Васильевич, — это ж надо: девяносто третий!

— Я сам всю жизнь мечтал, — вставил и Сергей Иванович, как Гюго прочитал, так и возникло желание: обязательно девяносто третий. Некоторые хотят, например, две тысячи какой-нибудь, а я почему-то именно в этот самый девяносто третий — и все...

— Ну, нам не положено, — с легкой грустью заметил Игорь Васильевич, — это уж вам... Как говорится, и с профессиональной точки зрения. Думаю, у вас в институте многие хотели бы, да не могут. На полгода-годик — пожалуйста, а чтобы сразу в другую пятилетку... Ну, это же понятно: у вас способности... Если хотите знать, я уже двадцать лет вашими экспериментами интересуюсь, и вот даже Сергею говорил, не даст соврать: Юрий Ильич, говорю, из экстраполяторов самый в институте способный. Еще вы обычным экстраполятором работали, а я как только в «Вестнике» ваш отчет прочту, так и говорю: обязательно надо бы Юрию Ильичу на пятилетку-другую рвануть! И руководству даже докладывал... Да ведь вы сами понимаете, Юрий Ильич, времена были другие. Кто бы вас тогда на пятилетку вперед отпустил? Считалось — нецелесообразно... Даже однажды — помнишь, Сергей, ты еще только стажером пришел, семнадцать лет назад — требовали, чтобы я на вас, Юрий Ильич, написал субъективку, как говорится — ну, это у нас так называется, мое, значит, субъективное мнение, а я говорю: хотите — пожалуйста, вот я кладу билет на стол, и можете тогда делать, что хотите, только я Юрия Ильича знаю и ручаюсь... Видите, Юрий Ильич, и в те времена у нас тоже разные люди были.

— А здорово вы ее, — неожиданно сказал Сергей Иванович и улыбнулся. В отличие от старшего, он улыбался сдержанно и тонко. — Здорово! Раз — и скрутили. Могла ведь шум поднять! Убить, конечно, не убила бы, а шуму было бы много...

— Так я же всегда говорил, — тут же включился в неожиданно повернувшийся разговор Игорь Васильевич, — всегда говорил, что Юрий Ильич исключительно смелый человек! Вы же ведь смелый человек, Юрий Ильич?

— Как вам сказать, — я смутился, пожал плечами. — В общем, я действительно в последнее время мало чего боюсь. Семья у меня небольшая, жена — человек самостоятельный, чего мне бояться?

— Вот и я говорю, — согласился Игорь Васильевич. — Вы же и нас не боитесь, правда? Написали все, как будет, ничего не смягчили. Как будет — так и написали. И про интернационалистов, и про молодежь... И правильно! Зачем скрывать, если вы уверены? Нам ведь надо знать чистую правду, если мы правду знать не будем, кто же и предостережет руководство? А руководство надо предостерегать...

— И про наших-то, — Сергей Иванович опять тонко улыбнулся, пухлые его щеки едва заметно дрогнули, — про наших-то... как они на стрельбу... примчались... и цепью, цепью... тоже не побоялись сообщить, Юрий Ильич?

— И правильно сделали, что не побоялись! — воскликнул Игорь Васильевич. — Кстати: вы случайно в лицо никого из них не запомнили? А то у нас есть такие факты, что там... некоторые товарищи... ну, в общем, не из наших, а только под наших маскируются... Да что я вам объясняю, вы такую возможность не хуже меня знаете, вы в одном из своих экспериментов ее даже отработали, только в прошлом, конечно...

— В ушедших временах, — уточнил Сергей Иванович, правильно, Юрий Ильич?

— В общем, да, — вяло согласился я, — только не в ушедших, а в давно ушедших, если вы читали отчет...

— Именно, именно, — согласился Игорь Васильевич, — в давно ушедших. Мы того вашего отчета, правда, не читали...

— Но откуда же Сергей Иванович тогда знает? — удивился я.

— Так вы же сами только что сказали, — удивился и Игорь Васильевич. — Только что: «В общем, да, только не в ушедших, а в давно ушедших...» Правильно, Сергей?

Сергей Иванович кивнул. И тут же мне стало нехорошо.

«Они же ни черта не знают сами, — с ужасом понял я, — они же ни черта не знали, пока я сам им все не рассказал, и они могут сколько угодно говорить, что я уже и о последнем путешествии отчет написал, но я ведь точно знаю, что я его еще не писал! И тот, старый отчет они не читали, а уж могли бы прочесть, его только ленивый не читал и в институте, и вообще, он мне, собственно, и сделал известность, если она у меня есть хоть какая-то... Он же даже был отдельным бюллетенем, о нем же даже на конференции докладывали в Риме!.. Они ничего не знали, — повторял я про себя в панике, они же ничего не знали, я сам им все наговорил, я сам стал им помогать...»

— Вот только зря вы не указали, — сказал Игорь Васильевич, — не встречали ли вы там кого-нибудь из ваших коллег, только... из тех. С той, значит стороны...

— Да, — подтвердил и Сергей Иванович и стал еще важнее, чем выглядел обычно,

очень важный пацан. — Мы ведь чем интересуемся? Мы же ведь женщинами, например, из Днепропетровска или даже ребятами из военно-патриотических объединений не интересуемся, у нас ведь совершенно другое направление.

— Конечно, — продолжал Игорь Васильевич, — только с той стороны! Разве мы стали бы предлагать вам о женщинах или, например, о прохожем каком-нибудь поклоннике, например, популярной певицы... Это ж все наши люди! Нам это не нужно, и мы вас как порядочного человека об этом и не попросим. Но у нас есть данные...

— Совершенно точные, — вставил Сергей Иванович.

— Что имеется их экстраполятор, — продолжал Игорь Васильевич, — который...

— Или которая, — уточнил Сергей Иванович.

— Это Юрию Ильичу все равно, — сморщился в улыбке Игорь Васильевич, — вон он... как ловко... Не жарко было, не раздеваясь-то?

— Как жарко, — буркнул я, уже ничего не соображая, — иней на скамейке...

— Иней! — Игорь Васильевич захохотал. — Ну, что такому мужику иней, а? Ну, вы даете, Юрий Ильич!

— А экстраполятор с той стороны обязательно там должен быть, — Сергей Иванович стал проявлять странную для него самостоятельность и упорство, вовсе не поддержав фривольный разговор. — И вам надлежит войти с ним в контакт, не вызывая подозрений, ни в коем случае не пресекая его действий, а наоборот, пообещать ему помочь, даже если его действия будут направлены на дальнейшую дестабилизацию...

— Ну, Сергей, это уж слишком для Юрия Ильича, примирительно сказал Игорь Васильевич, увидев, наверное, что лицо мое изменилось. — Это уж слишком... Это уж наша работа, Сергей, ты ее на Юрия Ильича не перекладывай... Вы только не вспугните, Юрий Ильич, только не вспугните...

И я уже оказался стоящим у двери в номер. И, заглядывая мне в глаза и снова трясая обеими руками мою руку, Игорь Васильевич повторял:

— И никто, никогда, ни за что на свете об этом не узнает, поверьте нам, это ж не в наших интересах, вы самый дальний экстраполятор и талант большой, вам надо писать и писать, а если, допустим, мы вас обнаружим, так нам же от руководства и нагорит, потому что мы теперь в одной обойме, Юрий Ильич, и вам надо только не вспугнуть, не вспугнуть, не вспугнуть...

Они оцепили дом в одну минуту. Все были в форме, в своей обычной форме, видимо, дело сегодня предстояло настолько рутинное, что нужды в штатской маскировке не было. Только командовали трое в хороших серых пальто и меховых шапках — они вылезли из последней бээмпэ и сразу стали в стороне.

Мы лежали на тонком снегу за кустами, и, еще зажимая ей рот, я прошептал в ухо этой гадине:

— Крикнешь — либо сам тебя убью, либо они возьмут. Они свидетелей не любят.

А мне уж тогда все равно. Поняла?

Она кивнула, насколько могла, стиснутая моей рукой. И я отпустил ее — рука уже ооченела, долго лежать так было невозможно. Едва слышно всхлипнув, она повернула ко мне лицо и даже не прошептала — только показала губами: «Прости, Христа ради, прости! Не выдавай! Забудь!»

— Молчи, — шептал я снова ей в ухо. — Лежи молча, не шевелись. Уедут — пойдешь дальше одна. Все.

Она кивнула и сразу же успокоилась — с невероятным интересом она смотрела теперь на то, что происходит возле дома. Я смотрел тоже, хотя то, что там делалось, уже давно не было ни для кого тайной.

Одно отделение вошло в дом. Все окна в доме уже горели — неяркий ночной свет пониженного, как всегда, напряжения казался на темной улице сиянием. Прошло примерно двадцать минут...

И вот дверь подъезда раскрылась, и показались они.

Мужчины были все как один в хороших серых пальто и меховых шапках, в руках они несли плоские чемоданчики. Женщины были в шубах и полушубках из овчины. Дети и подростки шли в куртках, без шапок, в небрежно накинутых капюшонах.

Их было около сотни.

Они вышли из подъезда довольно тихо, и так же тихо выстроились на мостовой в колонну по четыре — два солдата, слегка подталкивая их, справились с построением буквально за минуту. Из подъезда вышел последний из группы обнаружения. Мгновенно вытащив из полевой сумки огромный висячий замок, он запер двери и побежал к танку, над которым возвышалась радиоантенна, влез в него. Прошло еще две минуты — и во всех окнах погас свет, теперь навсегда.

Прыткий солдатик выскочил из танка уже с небольшой табличкой в руках, снова подбежал к подъезду и повесил ее на ручку двери поверх замка. Немедленно после этого один из тех, кто командовал операцией и своей одеждой не отличался от выведенных из дома, прошел в голову колонны и негромко — но в ночном беззвучии было слышно каждое слово — сказал:

— По специальному поручению Московского отделения Российского Союза Демократических Партий я, начальник третьего отдела первого направления Комиссии Национальной Безопасности тайный советник Смирнов, объявляю вас, жильцов дома социальной несправедливости номер — он взглянул в какую-то бумажку, — номер восемьдесят три по общему плану радикального политического Выравнивая, врагами радикального Выравнивания и, в качестве таковых, несуществующими. Закон о вашем сокращении утвержден на собрании неформальных борцов за Выравнивание Пресненской части.

Машины зарычали и двинулись по краям мостовой, один танк шел впереди, другой замыкающим. Колонна шла посередине...

Через десять минут на улице было пусто и тихо.

— Куда их? — спросила женщина. Она стояла в двух шагах от меня, пытаюсь дрожащими руками счистить снег и грязь с кожаного пальто.

— Неужели не знаешь? — мне уже не хотелось даже делать вид корректного обращения с этой жлобской бабой, которая, видно, не слышала ни о чем, кроме обувного изобилия в столице. — Во МХАТ на Тверской, потом — туда...

Стволом «калашникова» я показал на небо.

— А шо ж в том мхати? — с ужасом спросила она.

Никакого желания объяснять ей подробности у меня не было.

— Комиссия, — вяло пробормотал я, уже прикидывая, как быть дальше. Удивительно, что она может так спокойно, так уверенно в своей безопасности говорить с человеком, которого полчаса назад пыталась ограбить, может, и убить, крыла матом... Хотя удивляться не приходилось — по нынешним понятиям ничего особенного между нами не произошло, а прежние понятия из сознания этих людей исчезли настолько быстро, что можно предположить — эти понятия и прежде были им не слишком близки. Одно ясно — она не отвяжется от меня до самой площади, рассчитывая так или иначе выманить талоны. Воевать не было сил.

— Пошли, — сказал я, и мы двинулись дальше по Спиридоновке. Проходя мимо подъезда, я покосился на табличку. При свете луны крупные черные буквы на белом читались ясно. «Свободно от бюрократов. Заселение запрещено» — было написано на табличке. В темных окнах молочными отблесками отражались луна и снег. Ветер дул все сильнее, белые змеи ползли по мостовой все торопливее...

Мы свернули на Бронную. Я хотел снова выйти на Тверскую, потому что идти по закоулкам было еще опасней.

Но дойти до Тверской нам не удалось.

Справа, из подворотни, от бывшей библиотеки метнулись тени — и через секунду все было кончено.

У меня с шеи сорвали автомат, с треском разодрали ворот свитера.

— Во двор веди.

Подталкивая стволом, меня впахнули в подворотню. Я обернулся и успел поймать несчастную охотницу за сапогами, которую обыскавший ее отправил к месту сильнейшим пинком в зад.

Во дворе таких же, как мы, очумелых, было, наверное, около пятидесяти. Двор был довольно просторный, мы стояли не тесно, как бы стараясь не объединяться друг с другом. За эти годы я успел побывать по крайней мере в пяти облавах и заметил, что люди никогда не объединяются в окруженной страже толпе — наоборот, каждый пытается сохранить свою отдельность, особенность, рассчитывая, видимо, и на исключительное решение судьбы. Спутница моя немедленно выпросталась из моих объятий и отошла метра на полтора.

С четырех сторон двор освещали фары стоящих носами к толпе легковых машин. Какой-то человек влез на железный ящик помойки, взмахнул рукой, в которой был зажат длинный нож-штык, и негромко прокричал:

— Всем стоять смирна-а! Вы заложники организации Революционный Ка-амитет Северной Персии! Наши товарищи захвачены собаками из Святой самообороны. Если через час они не будут освобождены, вы будете зарезаны — здесь, в этом дворе. Кто

будет кричать — будем резать сейчас!

В толпе раздался тихий стон, и я увидел, как женщина у дальней стены упала на землю — видимо, потеряла сознание. Человек слез с ящика и сгинул. Я сел на землю, многие вокруг тоже стали садиться. В суете эта баба, мое наказание, оказалась рядом, примостила полы пальто, уселась, придвинулась...

— Прости... — услышал я спустя несколько минут и взглянул на нее. Она плакала, спрятав в руки лицо, и шептала, будто даже не обращалась ко мне: — Прости, ради Бога прошу... Разве ж я вбила б тебе? Просто от нервов...

Столько наивной прямолинейности, столько детского убогого желания собственного блага было в ее бормотании. Мы сидели обнявшись, я начал дремать... Меня разбудил крик:

— Идут! Идут!!!

Я открыл глаза. Кричал, видимо, кто-то из заложников, крик шел с земли. В подворотню входили цепочкой люди — точно такие же заросшие до глаз черными бородами, как те, кто нас захватил. Заложники вскакивали с земли, теснились к краю двора, к стенам... И вдруг над двором поплыло пение. Это было негромкое, но мощное мужское восточное пение, унылый мотив поднимался все выше и выше... И навстречу вошедшим — я понял, что это и были освобожденные наконец пленные, — ото всех концов двора двинулись те, кто их ждал, каждый подходил к какому-нибудь из прибывших, обнимался и застывал надолго. А пение все росло...

Визг, прорезавший это пение, был страшен, но короток. Толпа заложников отхлынула из дальнего конца двора, и я увидел: двое чернобородых стояли там, по-прежнему обнявшись, но уже глядя не друг на друга, а на третьего. Третий же, низко кланяясь, подавал им что-то, сначала мне показалось — какую-то кастрюлю...

Но это была не кастрюля, а большая меховая шапка, а в шапке отрубленной шеей вверх лежала человеческая голова.

Тело валялось чуть в стороне. Это была женщина. Рядом с телом лезвием в темной луже лежала обычная саперная лопатка на короткой ручке.

Тяжелый выдох — не крик, именно выдох — вознесся над толпой. И в наступившем за ним безмолвии заложники ринулись к подворотне. В центре прохода тут же возникли двое чернобородых, в руках у них были старинные, может, еще Первой Гражданской — где они их только выкопали! — шашки... Нас, стоявших ближе других к этому проему, толпа несла впереди.

Когда до убийц оставалось уже метра два, я рванул женщину за руку, и мы вместе упали плашмя. Люди пошли над нами, пытаясь свернуть, — первые, следующие уже не пытались... Мы ползли, и за то время, что мы проползли этот метр, я успел заметить многое. Я увидел снизу, как один из встречавших толпу первым опустил клинок и, резко дернув им слева направо, рассек по животу почти пополам переднего в толпе, уже пятившегося, но подпираемого сзади толстого мужчину в коротком плаще... Я успел почувствовать, что ни на меня, ни на женщину люди почти не наступали: их движение уже не было столь общим, ровным стремлением к подворотне, они уже топтались на месте, разворачивались, и мы оказались в мертвой зоне, быстро пустевшей зоне между убивавшими и убиваемыми... Я успел запомнить, что правой

рукой все еще намертво цепляюсь за рукав ее пальто... И я успел заметить самое главное: двое с шашками не смотрят вниз, они смотрят на толпу прямо перед собой, и тот, что уже зарезал одного, медленно встряхивает, встряхивает клинок, отбрасывая с него слишком медленно стекающую кровь, и ищет, ищет в толпе следующего, а второй еще не совсем готов и держит шашку — вверх острием, и стоит неустойчиво...

Прямо с земли — я привык за эти годы лежать на земле, ползти, бегать на четвереньках, — прямо с земли, как взбесившаяся ящерица, прыгнул я на этого нерешительного, обеими руками вцепился в его правое запястье, выкрутил... Оружие со звоном, раздрав на плече мою куртку, вывалилось и отлетело в сторону. А я уже что было сил ударил изумленного мальчишку — смуглого, едва заросшего бородой — коленом в пах и бросил его, обмякшего, на медленно поворачивающееся ко мне лезвие.

Женщина еще стояла на четвереньках, она еще только пыталась встать на ноги, толпа еще только качнулась, чтобы смять и затоптать тех двоих, и убийца еще только пытался сбросить своего неудачливого товарища с бесполезного клинка, и сзади, из глубины двора, прогремела еще только первая очередь в спины рвущихся к выходу людей. Это была очень замедленная жизнь, словно жизнь состояла не из холодного ноябрьского воздуха, а из воды. И, как бывает под водой, сильно, неестественно плавно изогнувшись, я тянулся, тянулся и дотянулся, схватил ее за шиворот, за крепкий кожаный ворот ее очень удобного сейчас пальто и потянул, рванул — и мы выплыли на улицу и длинными, все еще подводными прыжками начал уходить вглубь, в переулок, к Палашевскому рынку...

— Кушать хочется, прямо невозможно, — сказала она. Второй день не кушала, еще с поезда...

Мы сидели на полусгнившем прилавке пустого рынка, и тени диких собак носились кругами все ближе и ближе. Больше всего я был огорчен потерей автомата: безоружный имел не много шансов дожить до утра на московских улицах.

— Погоди, узнаю время, — сказал я, — может, еще и поедем.

Из внутреннего кармана я достал транзистор. Удивительно — он был совершенно цел. Часов у меня не было уже давно, радио, как и для многих, определяло всю мою жизнь. Часы были изъяты Комиссией еще прошлым летом, слишком часто их использовали во взрывных устройствах... Я нажал кнопку.

«...выражает соболезнование родным и близким погибших, всем пострадавшим при аварии на Красноярской ГЭС. По предварительным данным, во время разрушения плотины погибло около двадцати трех тысяч человек, около восьми тысяч ранено, сотни тысяч остались без крова и продуктов питания в связи с затоплением Красноярской и значительной части прилегающих областей. Общий ущерб составляет, по предварительным подсчетам, около восьмидесяти миллиардов талонов. Ведется расследование. В ближайших выпусках новостей мы передадим очередные сообщения правительственной Комиссии. Московское время — три часа тридцать семь минут. Слушайте концерт из произведений русской классической музыки. Первую симфонию Альфреда Шнитке исполняет...»

Я выключил приемник и потянул ее, спрыгивая с прилавка.

— Тут неподалеку, может, поедим.

Перед тем как позвонить в дверь, я отряхнулся, отряхнул и ее, потом, несмотря на все набирающий силу ветер, стащил и взял на руку куртку — в одежде, разрезанной пашкой, ходить в этот шикарный ночной каба́к было не принято.

Открыл почему-то сам хозяин — высокий, худой, моложавый еврей в коротко стриженных седых кудрях, по последней моде одетый во все сшитое у лучших крестовских портных. Фрак на нем сидел безупречно, короткие лакированные сапожки сияли.

— А-а, вольные дети любознательности тоже посещают злачные места, — обрадовался он. Вроде обрадовался... Когда-то в давно сгинувшей жизни, за много лет до катастрофы, мы работали вместе. — Ну, прошу, и даму... познакомишь бедного артельщика с дамой? Как это — сам не знаком?!... Очень приятно, Валентин... прошу вас, Юлечка... а вы знаете, что ваш грубый спутник — гений?...

Он продолжал трепаться, как будто мы не знакомы четверть века и будто не в полутемном зале ночного ресторана времен Великого Выравнивания мы встретились, и не стреляют за глухими ставнями неумные автоматчики — будто сошлись в нашем старом доме на Никитском... Как он тогда назывался? Суворовский, кажется... И сейчас выпьем по рюмке коньяку, и платить буду, конечно, я, потому что у него, как всегда, ни копейки...

— Угощаю, угощаю, — шумел Валька, — пока ты не решился ко мне, в артель, я угощаю... а то давай бросай свою бескорыстную борьбу за решительный возврат к светлому прошлому! Не надоело еще за десять тысяч «горбатых»-то ежемесячно бороться?

Мы шли по залу, и я кивал знакомым. Поэт, за последние годы не написавший ни одной короткой строчки и занимавшийся исключительно борьбой за признание поэтов штатными бойцами Выравнивания с жалованьем в талонах... Угрюмая компания бывших проституток, полностью ушедших в артельное шитье после краха профессии в страшном девяносто втором, когда от эпидемии ЭЙДСа они все чуть не вымерли... Какой-то очумевший от сыплющихся с неба денег артельщик — он пировал в компании двух атлетов — личной охраны из каратистов в отставке... И многих из этих привидений я почему-то знал — иногда сам удивлялся, откуда у меня такие знакомые и зачем они мне...

— Я и сам с вами выпью, — сказал Валька. — Вы будете пить?

— У тебя ж не подают, — удивился я. — Откуда?

— Ну, конечно, — расхохотался Валька, — а эти все кока-колу пьют, что ли? Так у них на нее денежек не хватит... Могу угостить отличнейшим напитком, одна хитрая артелька наладила из зеленого горошка венгерского... Лучше довоенной «Пшеничной», честно!

— А угловцев не боишься? — поинтересовался я.

— А угловцев бояться — трезвым капитализма дожидаться! — Валька, по обыкновению, повторял самые дешевые из расхожих шуточек. Между тем лакей уже принес на наш столик блюдо с американской пастеризованной ветчиной, французскими прессованными огурцами и положил возле каждого прибора по куску

— огромному, граммов на сто! — настоящего хлеба... Посреди стола уже стоял графин с темно-зеленой жидкостью...

Тем временем на сцене музыканты разбирали инструменты. Черт его знает, как Вальке удалось получить разрешение на пользование мощной, берущей огромное количество энергии усилительной аппаратурой! Но ребята уже настраивались, динамики взреывали... И вот уже вышла певица, зацепила кринолином шнур, другой, наклонила микрофон...

— Вас приветствует рок-шантан «Веселый Валентин»!

И немедленно ударил сумасшедший вальс, зарычали гитары, и певица закричала, конечно же, самую модную этой зимой песню:

Я ждала тебя в семь,
Но часов нет совсем
Ни у тебя,
Ни у меня,
Нету часо-ов!
Но что-то тикает внутри,
На это что-то посмотри
И ни тебе,
И ни мене
Не надо слов!

В зале уже подхватывали лихой припев:

Эй-эй, господин генерал!
Зачем ты часы у страны отобрал?

Шантан смеялся над властью...

Когда мы наконец подошли к Страстной, там стояло предрассветное затишье. Только в такие часы и бывало тихо на этом издавна самом буйном в городе месте. На площади копошились рабочие — глянув в их сторону, я понял, что за взрывы гремели здесь час назад: в очередной раз памятник Пушкину взрывали боевики из «Сталинского союза российской молодежи». И снова у них ничего не вышло: фигура была цела, только слетела с пьедестала, да обвалились столбики, на которых были укреплены цепи. Рабочие уже зацепили поэта краном и втягивали на место, бетонщики ремонтировали столбики.

— А кто ж то заделал? — спросила Юля. Она, чем ближе к концу шла ночь, задавала все более простые и бесхитростные вопросы — видимо, даже для такой

несложной нервной организации ночная прогулка по столице оказалась слишком серьезным испытанием.

— Твои верные сталинцы, — раздраженно ответил я. Все более дурные предчувствия мучили меня этой ночью, и возникала уверенность, что нынешними ночными встречами мои неприятности не кончились. — Твои сталинцы и патриоты...

— А за шо? — изумилась она. — Это ж Пушкин или кто?

— А за то, — уже в бешенстве рявкнул я, — что с государем императором враждовал, над властью смеялся — раз, в семье аморалку развел — два, происхождение имел неславянское — три! Мало тебе? Им достаточно...

— А шо ж неславянское, — еще больше удивилась она, — он разве еврейчик был?

Я не нашелся, что ответить.

— В метро пошли, — сказал я, — А то на улице без оружия долго не проходим...

— А в метро там спокойнее? — спросила она. Видно, после всех переживаний она просто не могла замолчать. — Чего тогда с Брестского вокзала не ехал в метро?

— Ночью там тоже... не рай, — неохотно пояснил я. — Но все же... хотя бы с оружием не пускают... официально.

Мы уже шли по скользким, сбитым и покореженным ступеням эскалатора. Когда-то я терпеть не мог идти по эскалатору — когда он двигался сам...

Перрон был почти пуст — только вокруг колонн спали оборванцы, голодающие Ярославль и Владимир давно уже жили в столичном метро. Да несколько человек подростков сидели посреди зала кружком, передавая из рук в руки пузырек. Сладкий запах бензина поднимался над ними, один вдруг откинулся и, слегка стукнувшись затылком, застыл, уставившись открытыми глазами в грязный, заросший густой паутиной и рыжей копотью свод.

Поезда с двух сторон подошли почти одновременно — редкие ночные поезда. Один из них остановился, двери раскрылись, но никто не вышел — вагоны были пусты. Другой же, как раз тот, что был нам нужен, к Театральной, прошел станцию, почти не замедляя ход. Впрочем, он и так полз еле-еле — километров семь в час, и поэтому я успел хорошо рассмотреть, в чем дело.

В кабине рядом с машинистом стоял парень в мятой шляпе и круглых непроницаемо-черных, как у слепого, очках. С полнейшим безразличием направив очки на проплывающую мимо станцию, сильно уперев, так что натянулась кожа, держал у скулы машиниста пистолет. Длинные косы парня свисали вдоль его щек мертвыми серыми змеями.

В первом вагоне танцевали. Музыка была не слышна, и беззвучный танец был так страшен, что Юлия взвизгнула, как щенок, и отвернулась, спрятала лицо... Среди танцующих была девица, голая до пояса, но в старой милицейской фуражке на голове. Были два совсем молодых существа, крепко обнявшиеся и целующиеся взад, у обоих росли редкие усы и бороды. Был парень, у которого гладко выбритая голова, окрашенная красным, поверх краски была оклеена редкими серебряными звездами. Он танцевал с девушкой, на которой и вовсе ничего не было, даже фуражки. На правой ее ягодице был удивительно умело вытутаирован портрет генерала Панаева, на левой —

обнаженный мужской торс от груди до бедер, мужчина был готов к любви... Когда девушка двигалась, генерал Панаев совершал непотребный эротический акт. Заметив, что поезд проезжает освещенную станцию, девушка повернулась так, чтобы вся живая картина была точно против окна, и начала крутить задницей энергичнее... И еще там, конечно, танцевали люди в цепях, во фраках, в пятнистой боевой форме отвоевавших в Трансильвании десантников, в старых костюмах бюрократов восьмидесятых годов, в балетных пачках, даже в древних джинсах... Посередине танцевал немолодой человек в обычном, довольно модном, но явно фабричного отечественного производства фраке. Выражение лица его было — сами скука и уныние, но нетрудно было догадаться, почему его приняли в эту компанию: именно он и держал на плече какой-то дорогой плэйер, беззвучно аккомпанирующий дьявольскому танцу.

Следующие два вагона были темны, там, видимо, спали. Только кое-где вспыхивали огни самокруток да вдруг к темному окну приникла отвратительная рожа: разбитая, в кровоподтеках и ссадинах, с всклокоченными над низким и узким лбом желтыми слипшимися волосами... Рожа была, кажется, женская, но я бы не поручился. Через мгновение рожу обхватила сзади толстая голая рука и оттащила от окна... В этих вагонах собралось дно.

Наконец, последний, пятый, был светел, и не просто светел, а освещен так ярко, как уже давно не освещалось ни одно обычное помещение в городе. В вагоне посередине стоял обычный домашний диван, на диване сидел обычный человек средних лет в свитере и мятых штанах и, склонивши набок лысую голову, играл на обычной гитаре. Это был знаменитейший сочинитель, песни которого пела вся страна. В веселом поезде везли его, чтобы, остановившись где-нибудь в Дачном под утро, вытащить на перрон и заставить петь. Потом его угостят чем-нибудь из горошка или еще какой-нибудь гадостью. Великий неразборчив ни в выпивке, ни в знакомствах...

Поезд сгинул в туннеле. Следующий должен был прийти не раньше чем через полчаса. Ждать не было смысла — он мог быть еще страшнее, ночь выдалась беспокойная. Но и идти дальше с голыми руками не хотелось.

И тут меня осенило. Ведь оружие все равно понадобится...

Я растолкал одного из спящих у колонны. Это был тощий, даже более тощий, чем многие его земляки, старик, судя по выговору — из Вологды или откуда-нибудь оттуда, с севера.

— Чего надо-то? — спросил он, подняв голову на минуту и снова кладя ее на руки, чтобы не тратить силы. Глаза он так и не раскрыл. Я присел рядом на корточки.

— Отец, — шепнул я, — слышь, отец, «калашникова» нет случайно? Лучше десантного... Может, от сына остался? Я бы пятьдесят талонов отдал сразу...

Старик раскрыл глаза, сел. Беззубый от пеллагры рот ощерился.

— Отец, говоришь? От сына? Да я ж сам тебе в сыновья гожусь, дядя!

Я увидел, что он говорит правду, этому человеку было не больше тридцати. Но и голодал он уже не меньше года.

— Калашника нет, — с сожалением сказал он. — Продал уже... А макарку не возьмешь? Хороший, еще из старых выпусков, я его по дембелю сам у старшины увел... Год назад... Под Унгенами стояли, в резерве, тут объявляют — все, ребята,

домой, конец. Я его и увел... Возьми, дядя! За тридцать талей отдам... Четыре дня не ел, веришь...

Он уже рылся в лежащем под головой мешке, тащил оттуда вытертую до блеска кожаную кобуру...

Я отсчитал деньги и, не вставая с корточек, чтобы не демонстрировать особенно покупку, надел кобуру на ремень, под куртку, сунул в карман три обоймы. Потом встал — и поймал ее взгляд.

Юля смотрела на карман, откуда я доставал талоны.

И тогда я понял, что наше совместное путешествие должно кончиться немедленно, чтобы мы оба пока остались в живых.

— Ну, пошли, — сказал я. Она двинулась за мной, как загипнотизированная, ее «горбатые» жгли ее сердце, мои талоны не давали дышать.

Мы вышли из метро, и я сразу свернул за угол подземного перехода. Здесь было абсолютно пусто и почти темно, свет сюда шел только из дверей станции. Я вытащил пистолет, повернулся к ней и медленно поднял ствол на уровень ее темных, так и не узнанного мною цвета глаз.

— Иди, — сказал я, — иди от меня. Талонов от меня не получишь. Хлеб можно купить и на «горбатые», а без лишних сапог обойдешься. Иди. Хватит. Я боюсь тебя.

— А куда ж я пойду? — спросила она довольно спокойно. — Ночь же, бандиты кругом...

— До утра побудь в метро. Утром сообразишь, — сказал я. — Иди. Иначе я выстрелю. Ты не даешь мне выбора.

Она кивнула.

Я стоял и смотрел ей вслед. Вот она толкнула качающуюся стеклянную дверь, вот начала спускаться по лестнице...

В это время над ухом у меня негромко сказали:

— Ну-с, как вам все это нравится?

Я отскочил, развернулся лицом, нащупал кобуру...

— Да бросьте, вы что, с ума сошли совсем, что ли?

Мужчина в темном пальто и кепке-букле пожал плечами. Откуда его черт принес? Из перехода подошел, наверное... Но как тихо!

— Так нравится или не очень? — продолжал мужчина. Лицо его при свете, доходившем через стеклянные двери станции, показалось мне знакомым — хотя кого я только не встречал за жизнь в этом городе... — Вот, радуйтесь, дождались! То, что вы все, вся наша паршивая интеллигенция, так ненавидели, рухнула. Бесповоротно рухнула, навсегда. Аномалия, умертвлявшая эту страну почти век, излечена, лечение было единственно возможным — хирургическое... Ну, и вы полагаете выжить после операции? Да и сама операция хороша, а? Госпитальная хирургия: кровь, ошметки мяса, страх и никакого наркоза, заметьте...

— Если вам так уж понравился ваш убогий образ, то отвечу, — я привалился к

облупленному кафелю стены перехода, достал табак, стал сворачивать. — Извольте: мы начали лечение. Длительный, сложный курс терапии. Но последовательности не хватило. А в девяносто втором — метастаз: его превосходительство генерал Панаев. Это — верная смерть. Что же — прикажете ждать, пока этот рак страну сожрет? Или все же хирургия?

— Варварство и идиотизм, — презрительно скривился собеседник. И я вдруг понял, с кем имею дело. По выговору, по всей манере... Вот и встретились! Теперь я уже не смогу отрицать — эта старомодная привычка строить фразу, этот свободный жест, забытые в стране слова... — Варварство и идиотизм, — повторил он. — Как и собственно и отечественная медицина. Все на уровне каменного века. А разве лучше умереть зарезанными, чем естественно? По-моему, вам еще час назад представлялась возможность лечь под нож, но вы постарались ее избежать...

— И вы?.. — удивился я.

— Едва ноги унес, — вздохнул он. И засмеялся мягким дворянским смешком. — А вы, надобно признать, весьма тут поднаторели выходить из отчаянных ситуаций. Подучились! М-да... Вот вам и еще один светлый праздник освобождения. Погромы, истребительные отряды, голод и общий ужас... Потом, естественно, разруха, потом железной рукой восстановление... Бывших партийных функционеров уже по ночам увозит Комиссия. Все ради будущего светлого царства любви и, главное — справедливости. Но... Время будет идти... Через десять лет, если доживете, будете отвечать на вопрос: чем занимались до девяносто второго года? А не служили в советских учреждениях? А не состояли в партии или приравненных к ней организациях? Не ответите — сосед поможет...

— Ведь не хотели мы этого! — заорал я и закашлялся дымом. — Но генерал же!.. Потом — генералиссимус?.. Мы побоимся крови, а он? И опять пойдем под нож, как бараны?! По традиции...

— Не орите. Сталинцев накличете или «витязей» черноподдевочных, — холодно посоветовал собеседник. — И что это за дрянь вы курите? Угощайтесь...

Он протянул пачку «Галуа».

— Угощайтесь, угощайтесь, у меня пока еще есть... Да-с, ничего вы значит, так и не поняли... Черт вас раздери, любезные соплеменники... Вы когда-нибудь научитесь терапии-то европейской? Почему там бастуют веками — и ничего, а у нас день бастуют, на второй — друг другу головы отрывают? Почему там демонстрации, а у нас побоища? Почему там парламентская борьба, а у нас «воронки» по ночам ездят? А вам, смутьянам книжным, все мало, все мало! Подстрекаете, подталкиваете... Ату его, он сталинист! Гоните его, он консерватор! Ну, прогнали консерваторов, а они-то — кон-сер-ва-торы! То есть хотели, чтобы оставалось все, как было, чтобы хуже не стало... Дождались операции? Ну, теперь крови не удивляйтесь, особенно своей. Живой-то орган кровотоцит сильнее...

Злым щелчком он выбросил свой окурок, помолчал... Я докуривал сигарету тоже молча, забытый восхитительный вкус настоящего табака сбивал мысли.

— Ладно, — вздохнул он, — что теперь говорить... Да вы ведь и согласны со мною, я же вижу. Так что, если захотите изменить свою жизнь, — милости прошу. Помогу, чем сумею. Найти меня несложно... — небрежным движением он сунул в

карман моей куртки твердый бумажный прямоугольник. — Здесь и телефон, и адрес. На всякий случай по телефону себя не называйте, просто попросите, кто подойдет, о встрече в известном месте. Это значит — я буду вас ждать здесь же, в первую после звонка ночь, вот в такое же время... Засим — желаю здравствовать.

Он повернулся и пошел к дальней лестнице перехода. Из-под пальто его были видны вечерние брюки с атласными лампасами и лакированные туфли, вовсе неуместные ночью в районе Страстной.

— Тут вы, конечно, немного перегнули, Юрий Ильич, — сказал Игорь Васильевич и, как обычно, засмеялся. — Женщину под пистолетом гнать не стоило. Тем более и пистолет-то... купленный. А вы знаете, у кого, кстати, вы его купили?

— Дезертир, — сказал строгий Сергей Иванович. — Совершенно точно дезертир и, как он же сам признался, расхититель военного имущества. Зря вы рисковали, Юрий Ильич, зря...

— Мы вас, если что, конечно, в обиду не дадим, позвоним или подъедем, если нужно, — сказал Игорь Васильевич. — Но другому бы пришлось отвечать...

— Вот и не нужно за меня заступаться, — упрямо сказал я и придавил сигарету в пепельнице. На этот раз мы сидели уже не в гостиничном номере, а в какой-то квартире в одном из старых, давно вышедших из-под капитального ремонта домов на Садовой. Квартире была полупустая, только большой холодильник шумел в прихожей да в углу большой комнаты стояли два казенных кресла, низкий столик и диван с одним отломанным валиком. Окна были завешаны желтыми газетами, сквозь газеты лупило солнце... Но пепельница на столике, естественно, имелась. — Нет уж, не надо меня защищать, прошу вас...

— Да как хотите, Юрий Ильич, — воскликнул Игорь Васильевич, — как хотите, мы ж понимаем, что вы человек самостоятельный, независимый, смелый, талантливый, гордый, неподкупный...

— И вообще, — закончил Сергей Иванович, который от раза к разу становился все строже и строже, все важнее и важнее, покрикивал и на Игоря Васильевича, и на меня. — Но теперь вопрос другой: ну, прогнали вы эту... даму. И дальше что? Почему же вы дальше не писали, а, Юрий Ильич?

— Что вы имеете в виду? — спросил я, чтобы как-то потянуть время, чтобы, может, снова свести разговор к невнятице, к неконкретной лояльности. — Вообще-то больше и не было ничего... Ну, прохожие разные... бандиты...

— Нет, Юрий Ильич, — тут посерьезнел и Игорь Васильевич, с бандитами все уже ясно. Вы нам напрасно не доверяете, Юрий Ильич. Времена теперь не те, мы ж вам сесть вот предлагаем, а вы... Мы сейчас в трудном положении, Юрий Ильич, а вы не верите. Пока с нами говорите — верите, а потом, как уйдете, так вас кто-то и настроит против нас. Может, жена?

— Почему жена? — я чувствовал себя все увереннее по мере того, как нарастал их напор. — Вот вы говорите, времена не те. А если снова будут те?..

— Что ж вы думаете, Юрий Ильич, мы тогда здесь дыбу поставим, что ли? — обиделся Сергей Иванович. — Разве можно так рассуждать? Вы же нас, лично нас,

перед собой видите? Похоже, что мы на такое способны?

— Ну, лично вы, может, и не способны, — замялся я, — но редакция в целом...

— И никто в редакции, уверяю вас! — взялся Игорь Васильевич. — Это все у вас старые стереотипы, как теперь говорят, образ друга... то есть врага... А у нас теперь все кадры сменились, народ грамотный, вон Сергей даже три института кончил, правильно, Сергей?

— Ну, — сказал Сергей Иванович. — А раньше у нас даже подполковники не все читать умели. Вот Игорь Васильевич лично помнит одного, он даже «расстрел» через одно «эс» писал, представляете?

— Представляю, — сказал я, и мы все втроем засмеялись. Хорошо так засмеялись, понимая друг друга...

— Вот я и говорю, — сквозь смех произнес Игорь Васильевич, — если у вас адресок и телефон этого... ну, который вам предлагал кое-что... если остались, вы поделитесь, вам же и легче будет...

— Это ж ведь он и есть, — сокрушенно вздохнул Сергей Иванович, — экстраполятор ихний. Причем тесно связанный с ихними пресловутыми редакциями. С нашими, извиняюсь, коллегами по ту сторону исторических баррикад. Он только числится экстраполятором, а на самом деле имеет звание старшего редактора. Его уже один раз выдворяли даже.

— Действительно, — я ляпнул и остановился. Действительно...

— Что действительно? — Сергей Иванович быстро встал с дивана, на уголке которого он по обычаю устроился, подошел ко мне вплотную, нагнулся — почти лицом к лицу. Пацан этот быстро повзрослел. Губы у него уже были не такие пухлые, а толстые щеки стали обвисать, он был все так же важен, но уже совсем не смешон. — Что действительно? Говорите!

— Я его вроде и раньше видел... — мямлил я. — Довольно известный экстраполятор... Представляет здесь какой-то институт. Не помню...

— А мы помним! — Игорь Васильевич тоже склонился ко мне, два этих лица теперь были так близко к моему, что черты их даже искажались. — Помним: Николай Михайлович Лажечников, потомок эмигрантов, Николас Лаже, представитель института экстраполяции Европейского Сообщества, на самом деле — старший редактор одной из редакций! Адрес, телефон! Быстрее, Юрий Ильич!

— Я потерял, — пробормотал я. — Выронил из куртки...

И тут же атмосфера в комнате снова стала очаровательно дружеской.

— Ну, это совсем другое дело! — опять весь сморщился в сплошную улыбку Игорь Васильевич. — Так бы и сказали! Что вы, ей-богу, Юрий Ильич? Это ж полностью меняет дело... Потерять каждый может.

— Вот я, например, однажды шесть томов совершенно секретного дела потерял, — засмеялся и Сергей Иванович, — когда еще молодым был...

— Точно! — хлопнул себя по колену Игорь Васильевич. — Ровно восемнадцать лет тому назад, когда его только из полковников в стажеры перевели, точно, Сергей?

— Так точно, — подтвердил Сергей Иванович. — Потерял — и ничего. Потерять любой может...

— Из полковников — в стажеры, — повторил я. Ум у меня вовсе заходил за разум.

— Ага, — кивнул Сергей Иванович, — у меня тогда еще только четыре класса было, я вечернюю начальную заканчивал... Ну, полковник, сами понимаете: корову через «ять» писал, одно дело знал — иголки да ногти... А уж потом в один институт поступил, во второй, и пошло... Уже восемнадцатый год стажером. А что? Почему вы этим заинтересовались?

— Я по-нял, — хитро протянул Игорь Васильевич. — Юрия Ильича мое звание интересует, правильно? Так я вам скажу: майор я. В восьмой класс перешел только что, с отличием... Еще вопросы, как говорится, будут?

— Никак нет, — ответил я. — Все ясно. А вы, Сергей Иванович, значит...

— Как двадцать пять лет отслужу, — кивнул Сергей Иванович, — так всех моих институтов как не бывало. Получу снова первое офицерское звание — и в вечернюю. Арифметика, география, то-се...

— Вот так, Юрий Ильич, — заключил Игорь Васильевич. — Обновляем помаленьку кадры. А вы думали, у нас не меняется ничего... Ну, я вижу, вы спешите. Так что пожелаю... А найдете адресок или там телефончик — звоните, ладно?

— Непременно позвоню, — пообещал я, решительно направляясь к двери.

— Или мы позвоним, — сказал Сергей Иванович. Оба они шли вместе со мной, чтобы еще раз пожать мне руку. Мы нежно простились, и я вышел, тихонько притворив за собою дверь. Перед этим я оглянулся. Они стояли рядом и смотрели мне вслед. Выглядели они сегодня внушительно: оба были в форме, с ромбами в петлицах и наградами, в новеньких ремнях и хорошо начищенных сапогах.

Над Садовой желтой гарью светилось небо, жара туманила перспективу, и бешено спешащие машины кучей заворачивали на Маяковку, стараясь прорваться на Брестскую, пока пешеходам не дали зеленый.

Жена была дома, она сидела на кухне, перед нею лежал английский роман и стоял стакан чая с молоком.

— Идем, — сказал я. — Собирайся. У нас уже нет и не будет времени.

Мы вышли на Страстную. Холод перед рассветом был лютой, я снова чертыхнулся: несмотря на мои настояния, жена оделась слишком легко. И, конечно же, брюки она надела старые! Вот порвутся здесь на третий день, что будем делать тогда?.. Но объяснить ей это было невозможно.

— Давай пойдем... — она показала туда, где у края площади уже собиралась небольшая толпа. Там вывешивали сегодняшние «Ведомости». Времени у нас уже оставалось немного, но на минуту мы подойти могли.

Однако протиснуться к газете не удавалось. Стоящие сзади переговаривались:

— Что там сегодня?

— Вроде ничего интересного... Только, говорят, «Тайная биография генерала»

сильная...

— Так и называется? Ну, они дают...

— Подумаешь, называется... Они там пишут, что он в партии состоял! Раскопали... Вроде только в девяностом вышел... Даже в райкоме каком-то работал.

— Не может быть... Кто б им позволил такое писать... А еще что?

— Отрывок из старой какой-то рукописи. Не то в восемьдесят восьмом написано, не то в шестьдесят восьмом... А, говорят, сильно написано, как будто вчера, про нас... «Невозвращенец» называется, что ли...

— А написал кто?

— Не помню...

Пробиться к газете я так и не смог. Да мне и не очень хотелось: я точно знал, о каком отрывке речь.

— Ну, наслушалась? — я взял жену под руку. — Пошли, пошли, нечего здесь больше делать.

Мы прошли к Тверской метров десять, когда я понял, что и на этот раз я ухватил счастье за самый последний, ускользающий поручень. Позади раздался шум, мы обернулись...

Толпа у газетного стенда даже не успела дрогнуть. Со стороны Большой Дмитровки раздался частый топот — и в мгновение все читающие оказались окружены плотным кольцом набежавших «витязей» в черных поддевках. В руках у каждого был аккуратно выструганный, светящийся в темноте свежим деревом кол. Кольцо стало сжиматься, как бы выдавливая из себя время от времени редких удачников, раздались негромкие приговоры:

— Жид... жид... жид... так, крещеный, необрезанный, выходи... жид... опять жидовка... русская? «Слово о полку» читай. Сколько знаешь... так, врешь, мало помнишь, стой... жид, жид, жид...

Мы свернули на Тверскую.

В это время где-то вдалеке, в стороне Рогожской и Владимирки раздался звук, рванулся вверх — и тут же распался на эхо, несущееся со всех сторон.

Жена остановилась, в ужасе оглядываясь, поднимая голову к старым облакам на светло-лиловом небе.

— Что это? — спросила она. — Воздушная тревога? Зачем же мы сюда бежали, здесь хуже...

— Просто ты уже забыла, — я крепко прижал ее руку, ей трудно было привыкать. — Это обычные заводские гудки. Видишь, короткие? Значит, сегодня стачка продолжается и за Москву-реку не пройдешь — на мостах танки...

Было уже почти светло. По середине улицы ехали тяжелые грузовики под брезентом, в них сидели пятнистые солдаты. Вся колонна постепенно втягивалась, сворачивая в Чернышевский переулок.

— Куда это их? — жена оглянулась.

— На молебен, наверное, к Воскресению на Успенском, — я не вдавался в подробности, постепенно сама освоится. — Перед отправкой в Трансильванию... Как положено: полковой молебен за победу православного оружия... Идем, идем, надо спешить.

Мы подошли к площади ровно в половине восьмого, в проезд между музеями уже почти невозможно было втиснуться. Отсюда толпа, заполнявшая площадь, казалась сплошной и аморфной, но я знал, что сверху, если бы можно было взглянуть хотя бы с одной из башен или с собора, стали бы видны кольца и извилины этой очереди, плотно слипшиеся зигзаги...

Вместе с боем курантов толпа шарахнулась и отступила, мы едва успели отскочить, чтобы нас не смяли. Теперь мы снова оказались на Манежной. Я знал, что сейчас происходит: это со стороны Маросейки несется кортеж.

Вот они влетели на площадь — семеро всадников клином, на одинаковых белых конях, в форменных белых полушубках, а следом — одинокий танк, в белой же зимней окраске, с ворочающейся вправо-влево, на толпу, башней. Вот засвистела охрана у Спасских ворот — и все, проехали, скрылись... Рабочий день генерала Панаева начался.

— Это правда, что его сопровождают всадники? — спросила жена. — Почему?

— Горючего нет, — ответил я. Про всадников она уже успела услышать от кого-то... — Тише... Сейчас объявят.

Над площадью раздался мощный радиоголос:

— К сведению господ ожидающих! Сегодня в Центральных Рядах поступают в выдачу: мясо яка по семьдесят талонов за килограмм, по четыреста граммов на получающего, хлеб общегражданский по десять талонов за килограмм, производства Общего Рынка — по килограмму, сапоги женские зимние, по шестьсот талонов, производство США — всего четыреста пар. Господа, соблюдайте очередь! Участники событий девяносто второго года и бойцы Выравнивания первой степени имеют право на получение всех товаров, за исключением сапог, вне очереди. Господа, соблюдайте очередь!..

— Идем, — жена дергала меня за руку. — Идем, ты же знаешь, я боюсь толпы. Как-нибудь проживем?

— Проживем, — согласился я, и она удивилась, что я не стал спорить, даже засмеялся.

Мы пошли домой — пошли вверх по Тверской, свернули на Неглинскую, потом в Петровские линии... Ветер утих, тонкий снег под первым же утренним солнцем быстро таял, заливая разбитый асфальт неглубокой водой. Мы шли вон от площадки, к которой я добирался всю ночь и добрался живым только чудом. Но жена не знала этого — она ведь шла только от Страстной...

Обгоняя нас и навстречу шли люди, среди них все больше попадались в одинаковых телогрейках защитного цвета. Это были беглецы из Замоскворечья, из Вешняков и Измайлова, из рабочих районов, где уже всюду орудовали «отряды контроля» — боевики Партии Социального Распределения. Там отбирали все до рубашки и выдавали защитную форму. Там у проходных бастующих второй месяц

заводов варили в походных кухнях и разливали бесплатный борщ. И иногда с котелком в руках в очереди появлялся сам Седых, могущественный глава Партии, легендарный рабочий лидер...

— Проживем, — сказал я, сунул руку в карман куртки и вытащил твердый бумажный прямоугольничек. Телефон, адрес... «...если захотите изменить свою жизнь — милости прошу...» С трудом перегибая толстую бумагу, я мелко изорвал карточку и швырнул обрывки на водосток. Половина из них тут же унеслась в решетку вместе с талой грязью, остальные поплыли вдоль тротуара...

— Смотри, — сказала жена, — какая странная машина.

Я поднял глаза. От дальнего перекрестка нам навстречу медленно ехали разбитые «Жигули», правого крыла у них не было совсем, левое было смято, по переднему стеклу разошлась густая сетка трещин. За рулем, как всегда щурясь, сидел Игорь Васильевич. Сергей Иванович, сидящий на втором переднем сиденье, высунулся в боковое окно и укоряюще грозил мне пальцем. В руке он держал сильно ободранный никелированный «тэтэ», поэтому грозить пальцем ему было неудобно, приходилось снимать этот довольно пухлый указательный палец со спуска, сильно выставляя его в сторону и качать всей кистью с большим тяжелым пистолетом.

Я покосился на жену. Близоруко щурясь, она присматривалась к едущим навстречу. Волосы из-под вязаной шапки выбились, очки слезли почти на самый кончик носа, неистребимый румянец пылал на щеках... И здесь у нее был всегдашний вид посторонней. На месте она была бы, конечно, только там, куда звал нас ночной барин... Там пьют чай с молоком, читают семейные романы и не признают открытых страстей. Скучно, но достойно. Что ж, телефон я вспомню, если понадобится...

— Это твои знакомые? — спросила она. — Кто это? Из «Вестника»? А что у него в руках? Ну, что ты молчишь? С тобой невозможно разговаривать...

— Знакомые, — сказал я. — Но здесь я их почему-то совсем не боюсь... Здесь все будет нормально. Главное — что мы уже не там.

«Жигули» подъехали совсем близко, Сергей Иванович стал опускать руку. Я втокнул жену в нишу, мимо которой мы как раз проходили. Когда-то здесь, наверное, стояла каменная ваза, теперь ниша пригодилась для человека.

Я толкнул ее — и рухнул на землю, уже расстегнув кобуру под курткой, уже готовый. Здесь я их совсем не боялся. Здесь я привык и в случае опасности успевал лечь и прижаться к земле.